

Библиотека Классической Литературы

НИКОЛАЙ ЛЕСКОВ

Очарованный странник
Левша
Соборяне

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44
Л50

Серия «Библиотека всемирной литературы»

Оформление *Н. Ярусовой*

В оформлении суперобложки использованы фрагменты работ художников *Николая Бруни, Василия Навозова* и *Валентина Серова*

Серия «100 главных книг»

Оформление *Н. Ярусовой*

Лесков, Николай Семенович.

Л50 Очарованный странник ; Левша ; Соборяне / Николай Лесков. — Москва : Издательство «Э», 2016. — 608 с.

ISBN 978-5-699-91915-4 (Библиотека всемирной литературы)

ISBN 978-5-699-91920-8 (100 главных книг)

Николай Семенович Лесков (1831–1895) – «самый русский из русских писателей», «прозванный русский гений», по словам Игоря Северянина.

Один из лучших мастеров русской прозы создал удивительный мир, сияющий слезами восторга и доброй улыбкой, целую галерею русских подвижников и праведников. Писатель живописует быт и бытие церковных людей, горе и радости русского духовенства – отчасти идеализированно, отчасти с лукавством и насмешкой.

УДК 821.161.1-31

ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-699-91915-4
ISBN 978-5-699-91920-8

© Аннинский Л.А., вступительная статья, 2016
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

Содержание

ПОРТРЕТ ГЕРОЯ

Лев Аннинский

7

ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА

16

ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ АНГЕЛ

64

ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК

129

ЛЕВША

258

СОБОРЯНЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

291

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

407

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

468

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

520

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

549

ПОРТРЕТ ГЕРОЯ

ЛЕСКОВСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ

*Памяти Николая Степановича Коробова,
уроженца Орловской земли,
почитателя Лескова*

Умирая, он запретил надгробные речи о себе. То ли не верил, что такие речи будут искренни, то ли не верил в свое право на них: оглядываясь на истекавшую жизнь, наверное, втайне сомневался, что прожил ее светло. Умирая от удущья в сыром февральском Петербурге, может быть, уже и хотел смерти — он, агрессивный жизнелюб, за шестьдесят четыре года наживший себе легион врагов, сплошные рубцы и шрамы вынесший из литературных и нелитературных схваток, упрямо гнувший свою линию в переменчивом русском междуусобии его века. А может, просто не умел сгибаться вместе с теми, кто сгибался. Дерзко шел против течений, когда другие плыли по течению. Не хотел крутиться среди тех, кто крутился в водоворотах политики, мешавшейся с литературой, и литературы, равнявшейся стать политикой.

Умирал — с вызовом; последнюю, смертную простуду схватил почти нарочно: надо ж было больному, с грудной жабой, ухарски проехаться в санях по февральскому ветру!

Надо ж было — смолоду — драться с соперниками-студентами на Андреевском спуске в Киеве! И резать правду в глаза радикалам, «новым людям» в обеих столицах, революционным нетерпеливцам, и когда! — в шестидесятые годы, а в ту пору Россия, вся молодая Россия, он знал это, — была ЗА НИХ! И все-таки отстаивал свою правду ПРОТИВ НИХ, всю жизнь пятясь и отступая, из лучших российских журналов отходя в какие-то бледно-желтые газетки, в биржевые ведомости, в слу-

чайные листки-однодневки, уступая радикалам поле русского слова, — ради чего? Ради какой такой правды?

Никакой громогласной, всеспасительной программы Лесков, в отличие от левых его противников, не знал. Никакой железной ортодоксии, в отличие от своих противников справа, не придерживался. Просто был здравомыслящ. Никому не спускал ни глупости, ни фанфаронства: ни левым, ни правым. А ради чего покинул политическое ристалище? Ради того, чтобы плести «узорочье» русской речи, любоваться словом, обращаться его смыслы и оттенки?

Кому нужно было узорочье, когда стоял вопрос о власти и дрались дубьем! Когда в горячке российской Оттепели XIX века (эпоха Великих Реформ) все только и думали, как бы свалившуюся на всех общую Гласность прибрать к СВОИМ рукам, заставить оппонента «заткнуться» (увы, и сто лет спустя все повторилось: и в Оттепель XX века, и в Перестройку). Так в этой свалке, уже имея с обоих боков клеймо отступника и ретрограда, — любоваться Словом?! Что спрятано за этим уходом в «узорочье»?

Он пережил своих противников. Пережил Писарева, который в разгар левых страстей объявил Лескову бойкот, изгнал, так сказать, из литературы. Пережил Щедрина, под мрачным прицелом которого находился чуть не до последних мгновений, когда старикам уж, казалось бы, и делить нечего. Пережил Некрасова, который ему, Лескову, *ходу не давал*, хотя практическим умом понимал масштаб того дарования, которому не давал ходу.

Что еще было горько: эти левые оппоненты, безжалостные и умные, не только выиграла у Лескова прижизненные литературные битвы; они и в смерть уходили — вырастая в глазах страны. Уходили — в бессмертие. И вспоминая эти тени на последнем пороге, Лесков должен был отдать себе отчет в том, что обновляющаяся Россия именно этим, красным его противникам: Щедрина, Некрасову, Герцену, Писареву, Чернышевскому — вверяет свое будущее; всем тем, с кем он либо схватывался насмерть, либо, отдавая должное (как Чернышевскому или Герцену), не мог не чувствовать вынужденности такого признания, ибо не «должного» требовала себе революционная Россия, но — «всего»: душу надо было отдать. А он не мог. Его душа была из какого-то другого материала, она происходила из иной глубины. Он не вполне понимал это, но адским чутьем чувствовал обманчивость мирного сосуществования и с радикалами, и с ретроgrадами. Хотя к старости привык — сосуществовать.

Считанные годы оставалось России прожить в относительно «нормальном» XIX веке. Десять лет — до первой русской революции. Двадцать два — до второй и до третьей, последней. Умирая, он чуял обманчивость тишины, знал, что державное молчание иссякает, что недавняя смерть крепкого царя на Руси предвещает что-то, хотя не мог бы угадать, что именно.

Лесков знал и большее, он чуял нечто более глубокое, нежели смена монархов, кабинетов или партий. Как раз на уровне кабинетов и партий он придерживался принципа осторожной умеренности (чем и вызывал ярость сторон). Он слышал гул почвы, на которой выстраиваются все эти фронты и фронды, организуются все эти игры и маневры.

О, почву он знал! Лучше, чем нужно для «решения актуальных задач».

Мучаясь от дальних предчувствий, гася одиночество, Лесков в последние годы жизни видел вдали от себя такую же независимую, но почти недоступную в величии фигуру — Льва Толстого.

Уже после смерти Лескова Толстой заметил: время Лескова еще придет, Лесков — писатель будущего. Эту толстовскую оценку не суждено было услышать Лескову.

Он умирал оставленным, если не отверженным.

Даже и личный план его жизни мечен все возобновляющимся одиночеством. Ничего похожего ни на патриархальное обилие детей-внуков, окружившее Толстого в мафусаиловы годы, ни хотя бы на ту верность близких, которая скрасила мученичество Чернышевскому. Горько прошла «частная жизнь»; семейный кров не утихомирил разоженных смолоду страстей (а смолоду был Лесков, по его собственному определению, настоящим «аггелом», то есть сатаной, антиподом ангела!). Из двух его жен одна была оставлена и тихо догорала в психолечебнице; другая ушла сама; из двоих детей: дочь вызывала у отца насмешки; сын вызывал ревность и гнев; не знал старик, умирая на руках сына, что спасет его наследие (и архив, и любовно собранные семейные предания) именно сын, Андрей Николаевич, теперь сидящий с кислородной подушкой в доме на Фурштатдтской около задыхающегося старика.

Наследие?

Оно было на грани исчезновения в тот момент: исчезновения из активной памяти литературы.

Романы «второго ряда» — вроде «Островитян» или «Обойденных» — полузабыты (и справедливо).

Романы программные («Некуда», «На ножах» — явно «первый ряд» по авторской установке) — отнюдь не забыты, но отнесены в разряд скандальных, нечистых; их если и перечитывают, то с неприязнью или с опаской. Почти как курьез.

Роман гениальный — «Соборяне» — вроде бы и признан, но как-то под сурдинку, по какому-то «дополнительному», снисходительному разряду: хорошо написано, но, увы, про попов. А попов на протяжении полутора столетий — с того времени, как Петр Великий воткнул нож в стол перед «долгогривыми»: вот вам мой патриарх! — ни один стоящий русский интеллигент всерьез попов не брал. Куда уж там «Соборянам» в калашный ряд — хорошо еще удержались в ряду потешном, где чудит Ахилла-дьякон, русская пародия на античного героя.

А повести, очерки, рассказы лесковские? Эта самородная россыпь, стадо невместимых овцебыков, блохи подкованные, бесстыдники, скоморохи, пугала, язвительные чудики, антики, очарованные странники, вдохновенные бродяги, святые разбойники?

Да пародия все это, пародия! Байки! С тем и принимали Лескова новые поколения российских граждан, освободившиеся наконец от традиционной крепости устоев, — умники, реалисты, делатели дела, наследники Писарева, Щедрина, Некрасова. Они еще могли признать многоопытного литератора, как-никак написавшего десятки томов сочинений, но признавали они его лишь как пустоватого затейника. Властитель дум нового поколения — Михайловский — так и припечатал: Лесков — анекдотист. Это была, так сказать, дань уважения. Все-таки анекдотист — не враг прогресса. Но и не светильник разума. Он — за пределами той драмы, в которой должна решиться судьба России.

Так доживал «великий изограф» свой век на обочине великого процесса. Выгачиватель игрушек. Рассказыватель историй.

Помнила ли Россия его жизнь? Кто-то помнил еще, наверное, как приехал из Киева задиристый южанин с копной смоляных волос и пустился сначала в нигилистский идейный загул в северной столице (коммунаристская горячка начала 60-х годов), а потом от нигилизма отшатнулся и «счета свел». Но это все осталось в прошлом. Теперь это был нелюдимый старик с угрюмым взглядом, располневший, одышливый, одетый в демонстративно старомодную, «татарскую» какую-то, или старопупеческую, «средневековую» азямку, мрачный, всем своим об-

ликом отчужденный от новой России, которая стремительно катилась в XX век.

Стопка томиков, изданных Сувориным, расходилась туговато. К тому же и цензура прижигала: один том уже пошел под нож — сказались старые распри с церковной властью.

Удушье было прямое и переносное.

Через кровавое удушье суждено было пройти всей старой России в XX веке. В этой кровавой каше — кто мог знать? — суждено было извлечь лесковское наследие из тени шутоломному и шептунному Левше: именно этот откровенно АНЕКДОТИЧЕСКИЙ герой сумел первым вырваться на простор народного чтения: копеечными миллионными «солдатскими» выпусками — уже в разгар Первой мировой войны, начавшейся через два десятка лет после смерти автора. Вряд ли он мог такое себе представить: ведь «байка», «легенда», «выдумка». И эта Божьим перстом меченная «шутка» — в роли вытяжного парашюта или, лучше сказать, бикфордова шнура?! Рядом, из той же «серии» — какой-нибудь «Леон, дворецкий сын», тем же пером и в том же настроении написанный, забыт наглухо и сброшен в отвалы словесности, а Левша-оружейник, косой, пьяненький, насмерть замордованный, становится русским национальным героем, одним из мифологических очагов неубитого народного сознания!

Это чудо. Запредельное чудо лесковской судьбы... да только ли лесковской? Великий писатель всей логикой не настроен ли на такое чудо? На неожиданное прочтение? На неведомое странствие его героев за пределами его земной жизни? Лесков на такую судьбу вроде бы и не замахивался. «Само» осуществилось. Ходом вещей.

Этот сверхрациональный ход вещей ощущается в посмертной судьбе лесковского наследия. Что-то ведет его сквозь запретность. Из синодиков ревдемократии он остракирован в пылу вольной борьбы. Из синодиков официальной советской идеологии, унаследовавшей ценности ревдемократии, он остракирован в ходе пропагандистской чистки. «Анекдотист» не лез в каноны критического реализма, «антинигилист» не клеился с реализмом социалистическим, еще менее нужен он был революционному авангарду.

Меж тем «Левша» уже стал народным чтением. Надо было осмыслить этот объективный факт.

Первым решился после революции вернуть Лескова в официально-литературное бытие — Горький. Менее всего, конечно,

он думал при этом об официальной советской литературной доктрине, когда, сидя за границей, в эмиграции, писал свой очерк о Лескове для заграничного же, берлинского, трехтомника. Но вышло так, что именно с горьковской разрешительной печатью Лесков возвратился и врос в читательский оборот многомиллионной советской аудитории, и печать на челе его была: «волшебник слова».

Не идеолог, не философ. Мастер речи. «Человек, тонко знающий русский язык и влюбленный в его красоту». Virtuoz, достигающий результатов «искусным плетением нервного кружева разговорной речи».

За этим плетением (безусловно, реальным у Лескова и, безусловно, имеющим огромное литературное значение) несколько укрылось и даже, может быть, было намеренно укрыто Горьким понимание существа лесковской мироконцепции. Даже в 1923 году над фигурой Лескова висел дамоклов меч, подвешенный за шестьдесят лет до того революционными демократами; не исключено, что и в близком будущем основоположник социалистического реализма предвидел брани и репрессии, от которых надо было «антинигилиста» спасти. Осторожнейшим образом Горький отвел от Лескова возможные удары, с одной стороны, указав, что тот написал о революционерах и много хорошего (это правда), а с другой — что плохое о них написал он с литературной точки зрения плохо и в горячке обиды (и это правда).

Глубинная и важная мысль Горького о Лескове несколько утоплена за тактическими оговорками. Но высказана твердо: мысль острая, опасная, для того времени тоже едва ли не обидная. «Грязь славянская», «навоз родной» — эти мелькнувшие в «Самгине» фразочки не случайны; Горький глядит в самый корень, в почву, даже в подпочву русского опыта, и именно там, в глубинных, хтонических слоях русской души видит он настоящее поле действия лесковского слова. «Идольской литургии мужику», «хоровой песни славословия разуму и сердцу народа», всему этому народническому самоопьянению, легшему в основу всех русских революций, Горький противопоставляет лесковский скептицизм, лесковскую трезвость и лесковское же уникальное знание русских национальных «низов».

В сущности, близкий взгляд на Лескова вынашивает в ту же пору и великий русский философ Георгий Федотов, опирающийся на опыт великого русского историка Василия Ключ-

чевского. Из-под петровского «плаца» весь XIX век голосит погребенная там, недобитая Московская Русь. «В Ключевском мы видим московского человека XVII века, прошедшего сквозь «нигилистический» опыт XIX века, — пишет Федотов. — XVII век, действительно, не умирал в России совершенно. Оттиснутый вниз петровской, дворянской культурой, он доживает, в полной моральной силе и здравье, в крестьянстве, купечестве и духовенстве, особенно сельском, из которого вышел Ключевский. Лесков — бытописатель XVII века в XIX-м. 60-е годы начали стремительный процесс разложения допетровского массива русской жизни. Революция, по всей вероятности, смыла его остатки...»

Страшный вопрос: смыла ли? Окончательно ли изведена «железной волей» целебная грязь славянская, выветрен ли начисто, выжжен и вымыт из почвы навоз родной, уничтожено ли то тесто, из которого делается нация? — Эти фундаментальные вопросы и обеспечивают Лескову по ходу XX века возврат в русское духовное сознание не просто как изографу и волшебнику слова, но как знатоку народных глубин — как национальному философу.

Изограф никуда и не исчезал из литературного сознания: в то время, как в советском театре Дикий ставил «Блоху» в декорациях Кустодиева (весело обходя революционную романтику), — Алексей Ремизов в парижском журнале прямо свидетельствовал, что он идет от Лескова. Это был как бы фон: подразумеваемое, подспудное, неистребимое присутствие Лескова в русской литературной речи.

Но ни ремизовские признания, ни горьковские спасительные формулы не могли изменить ситуации с лесковским наследием в России (не говоря уже о Федотове, который был в СССР под наиболее жестким запретом), пока в самой стране не созрела почва.

И опять вернула Лескова народу — война. Но если в 1914 году вытащил его к массовому (солдатскому) читателю косой шутник Левша, то в 1941-м аналогичную роль сыграла «Железная воля» — потешный с виду рассказ о немце, нашедшем гибель в России. Не будем обольщаться уровнем, на котором был воспринят этот рассказ в воюющей стране: из него состряпали немудрящий антигерманский пропагандистский миф, да странно было тогда и ожидать чего-то другого. Но это был для Лескова «проходной балл», пропуск к послевоенному советскому читателю.

Кирпичи-однотомники, один за другим выходившие во второй половине сороковых годов, вернули писателя — читателю. Настоящее возвращение началось.

Это был долгий путь. Предстояло многое: переварить «антинигилизм»; объяснить по поводу ненависти к Лескову всей «титульной», «красной», революционно-демократической русской мысли. И еще надо было сожрать церковную «обертку» лесковских праведников. И еще надо было до «Соборян» дострадаться — чтобы воспринять главную лесковскую книгу, не прикрывая духовный подвиг христианского пастыря простонародными подвигами непомерного дьякона и не отплевываясь от рясофорных героев атеистическими заклинаниями. Впрочем, в самый разгар атеистического погрома культуры, в 1931 году, издатели ухитрились выпустить «Соборян», причем в цитадели идеологии, в Ленинграде... Россия непредсказуема.

К 80-м годам — переломилось окончательно: Лесков вошел в национальный синодик. И не просто как писатель-мастер, изограф, волшебник слова, но — как знаток русской глубинной психологии. Как мифолог русского национального сознания. Левша — лишь первый в этом мифологическом ряду, рядом с ним — влюбленная душегубка Катерина Измайлова, рядом — святые водкохлебы из «Запечатленного ангела». И Сафронич, так «вывернувший» немца, что и сам уже — немного «вывернутый немец». И «тупейный художник», не помещиками изведенный, а завистью и злобой своего же брата-дворянского... Тут и шеренга неповторимых русских типов, тут и череда ситуаций, выявляющих сам этот загадочный русский тип и то, зачем он в мировой истории.

Минует Империя, наступает Совдепия; Сталин сменяет Ленина; Оттепель подтапливает замороженную страну; выветривается очередная партия лозунгов; вслед за «единой неделимой Россией» отправляется в запасники памяти «мировая Революция», за нею «социалистический лагерь», время снимает очередные гримы, сдирает очередные маски, повязки, шины, скрепы и скобы, и тогда вновь проступает из-под плаца и бетона-асфальта вековой русский тип, и ясно становится какое-то роковое единство судеб на этой гигантской евразийской равнине, где народы льнут друг к другу, чтобы не разбиться друг о друга, и называется все это — Россией.

Сходят туманы идеологий. Обнажаются основы бытия: косяе, кривые, кое-как склепанные, по-барачному, по-временному, до следующего половодья. Гадаем: не в том ли дело, что напор-

тачил очередной «генсек», или не так прочли Энгельса, или зря поверили Марксу. А почва все плывет и плывет под ногами. Изменчивая, непредсказуемая русская почва.

И когда ЭТО становится ясно, когда разваливается одряхлевшая диктатура, и из-под ярма вихрем вырываются безумные демократические страсти, и крутятся по старому кругу междоусобная рознь и первобытная ненависть, — начинаешь подозревать, что не Семнадцатый век проступает из-под Двадцатого, а нечто куда более глубокое и древнее: хитрый степняк косится из-под наскоро оглашенного христианина.

Тут нам становится нужен Лесков.

Хватит ли у нас сил воспринять ту правду, которую он знал?

Лев Аннинский